

У меня в характере какой-то дух противоречия

Взять интервью у Юрия Петровича вроде бы легко: он редко кому-то отказывает. Воспринимает как неизбежность. Но легкость тут кажущаяся. При всей своей внешней общительности он человек закрытый. Дальше какой-то, ему одному известной черты, не пускает. От нежелательных, неудобных вопросов замечательно уклоняется. Способов уклонения отработал множество. Самый простой — ответить односложно, с оттенком пренебрежения. Дескать, о какой нелепости (банальности) вы меня спрашиваете. При хорошем настроении — вариант веселый: ответ сводится к рассказыванию и показыванию его знаменитых "баек". Тут Ю.П. мастер, а за огромную жизнь он накопил их великое множество. Вариант же, наиболее часто используемый, — перейти к разговору о сегодняшней политике или вчерашних гонениях. Это его конек. Вы можете упрямо требовать от Ю.П. объяснения его творческих принципов, методологии, соображений о каких-то общих проблемах театра. Скорее всего, он "уйдет" элегантно нырком. Или сосредоточится на актерской растренированности, будет сетовать, что актеров неправильно учат, время от времени повторяя: "Выдумали, что я не люблю актеров... Да я сам актер". Может создаться впечатление, что Ю.П. вообще не склонен (не умеет) формулировать то, что он делает. Конечно, главный его козырь — мощнейшая интуиция, которую только можно спугнуть абстрактными рассуждениями. Однако и формулировать Ю.П. умеет прекрасно. Стоит послушать, что и как говорит он на репетициях, легко и естественно заключаая почти в афористическую форму сложнейшие понятия. Но это — в процессе работы, по делу, среди тех, кто реально ждет объяснений. С журналистами же он будто не чувствует необходимости, не рассчитывает на понимание что ли...

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Я разговариваю с Ю.П. между последней в этом сезоне репетицией "Карамазовых" и первым черновым прогоном со зрителями ("своими" для театра людьми). До премьеры еще далеко: она должна состояться осенью, в день восьмидесятилетия Любимова.

После прогона Ю.П. сразу же улетает. Потому находится уже как бы между двумя реальностями. Настроение явно неразговорное. Я спрашиваю: волнуется ли он обычно перед премьерой. "Да нет..." — отвечает. И издает вздох, за которым раздражение от ненужности и глупости вопроса.

Один вопрос я задала еще вчера. Про грядущий его юбилей:

— Как это ощущается, Юрий Петрович?

— Возраст? Да грустно ощущается. Я почему-то и в шестьдесят почувствовал нечто странное. Глупость какою-то в себе. Вдруг начал думать, как мне одеться. Надел почему-то куртку старую с красной подкладкой. Почему — не знаю. Наверное, решил, что не

стоит выпендриваться, лучше, как я всегда хожу, таким и быть. И сейчас очень затрудняюсь. Все в смокингах, все чего-то изображают. Неизвестно только, чего. Как будто какое-то "последнее танго в Москве". Крутятся. Вертятся. Непонятно.

— Просто все стали другими.

— Нет. Хуже стали. Свободу поняли превратно. Не все, конечно. Кто тогда был свободен, тот и остался. Булат Окуджава всегда был свободен, чего ему меняться.

А вот многие растерялись. Знали раньше, что и как, а тут все переместилось. Внешне. В первый момент не сориентировались: как жить. Прежде всего — интеллигенция. Сейчас-то она уже опять сориентировалась. Снова стала себя с властью, как прежде, вести: критиковать. Это теперь можно. Не опасно. Пока. Власть всегда все равно власть. А что они говорят другие слова, какое это имеет значение? Никакого. Войти по-настоящему в демократический мир после семидесяти пяти лет топота носорогов по населению сложно...

— Вот вы упрекаете нашу интеллигенцию. А там, на Западе?

— Там никто никого не интересуется. Есть маленький круг. У каждого свой. Свои друзья, свои интересы. И главное — работа. Это их слово, а не наше. Там работа означает, что человек может жить. Мы жили, чтобы работать. Они работают, чтобы жить. Пока мы не научимся жить...

— Научимся?

— В ближайшие пятьдесят лет — нет.

— Почему? Что мы какие-то уж совсем...

— Потому, что за работу надо платить. А вы все здесь, и я в том числе, разучились работать за хорошую зарплату.

— Меня поразило, что вы рассказываете недавно о ваших здешних знакомых. Как они живут. Стесняются пригласить в гости: квартира давно не отремонтирована...

— Да. Это те, кто не продался. Все ведь осталось, как было. Те же люди, та же кормушка. И тот же выбор. Вот все и тусуются у корыта.

— Но ведь там — тоже своя кормушка и борьба за нее.

— Не в такой степени, не в таком виде. А вообще, конечно, мир везде похож. Только там деньги другие.



Фото автора

— Но за большие деньги и большая борьба.

— Да нет. Это отсюда так кажется. На Западе есть много людей, способных и желающих помогать другим. Нашел же Институт Гете необходимые средства, чтобы привезти в Москву из Бонна "Пиковую даму". В самое трудное время собрали же они средства для нашего театра, гуманитарную помощь. 50 тысяч марок. И всем раздали. Правда, потом я с трудом добился, чтобы театр в ответ хотя бы письмо им послал. Мы свиньи. Только это признавать не хотим. Достоевский в то еще время, когда было больше порядочности, говорил, что в молодое поколение будто вселился черт. Вот мы теперь это и видим. Когда я вернулся сюда после долгого отсутствия, все мне хором: "Ставьте "Бесов", ставьте "Бесов". Зачем я буду их ставить? Кругом итак одна бесовня. Мне показалось, что точнее будет "Пир во время чумы". Я и поставил. С прекрасной музыкой Шнитке. Правда, артисты ничего не поняли. Я бился, бился. Объяснял. Времени было мало. Плюнул. Огорчился: шведы лучше играли. Потому что они, что я им говорил, делали, а не рассуждали. А наши

все "собираются". Тарханов бы на это им сказал: "Собираются только в баню". Я в Англии восхищался работой артистов, тем, как они репетировали между собой. За час до спектакля. Никого нет, а они уже на сцене, о чем-то договариваются: тут ты мне помешал, тут — я тебе. Бегают, что-то проверяют. Я им одного русского порекомендовал. Они мне потом говорят: "Уберите его. Он нам мешает. Опоздывает. Невнимателен. Разрушает атмосферу. Мы из уважения к вам терпели, но все же просим вас...". Я-то его взял, хотел ему помочь. А он на репетиции, когда я сделал замечание, начал кричать: "Тут вам не Советский Союз!".

— В Англии вы между прочим ставили "Бесов". И как? Им это было понятно?

— Бесы свои везде есть. И потом вы странные какие-то люди. Русские актеры играют Шекспира, никто не удивляется, что они его понимают. Почему же англичанам Достоевского не понять? "Загадочность русской души"?

— Вы правы. Скажите, что помогло вам выжить на Западе, так сказать, адаптироваться?

— Профессия. Если бы я не работал, то — все.

— А личные качества?

— Какие личные! Только имя. Я недооценил в первый момент своего имени. Растерялся, совершил несколько ошибок. Не те контракты в панике подписал. А кто панику нагонял? Те, кто ко мне прекрасно относился.

— Трудно было? Здесь-то привыкли на Таганке работать вольготно в смысле сроков. Сколько нужно было, столько и репетировали.

— Это начальство заставляло меня вольготно работать. Я сказал — быстро выпущу "Пугачева". И быстро выпустил. Сказал — быстро выпущу "Мастера и Маргариту". Слово сдержал. Это они потом начинали возню: то убрать, это изменить. Премьера поэтому иногда надолго откладывалась. Они издевались до того, что эта премьера была уже не в радость: чтоб она сдохла вместе с ними.

— Это я помню. Перед каждой вашей премьерой возникало напряжение. Все чего-то ждали, бродили разные слухи. От Таганки словно волны какие-то шли.

— Просто я всегда высказывал свою точку зрения, и это поражало: почему мы слушаемся, а он — нет. Вы спрашивали, что помогло. Терпение. Профессиональное и просто человеческое. Бесконечное терпение всех безобразий. Вот они орут, судачат, что-то выясняют, а я сижу и репетирую. Что бы ни произошло. Это и спасало. Говорили: "На него ничто не влияет".

— Однако терпение ваше прекрасно уживается с неуправляемостью. Помню, как чиновники про вас говорили: "Дошел до такой наглости, созвал на прогон иностранцев. Специально, чтобы они там у себя устроили шум, и мы тут не могли бы ничего с ним сделать". Как вы решались постоянно апеллировать к западному общественному мнению?

— А я ни на что не решался. Они приходили, я говорил: "Пожалуйста". Не мог же сказать: "Нельзя".

— Большинство вело себя осторожнее.

— Да. Меня поразило один замечательный писатель. Он как-то мне шепчет: "Вы идете сегодня на ужин?" — "К американцам? Иду, наверное. А почему такая таинственность?" — "Вы согласовали?". Я захохотал. Он посмотрел на меня удивленно: "Вы что, без разрешения?" — "И давно о-о-о!". У меня в характере какой-то дух противоречия.

— Без этого вы ничего бы не сделали.

— Конечно. Но еще и терпение... Воля. Не случайно Пушкин пишет: "На свете счастья нет, а есть покой и воля". Это говорит один из вдохновеннейших людей мира. Только покой дает силу. Даже в самые трагические моменты. На войне, когда тебя могут убить, выигрывает тот, кто держит себя в руках. А не тот, кто орет.

— Разве воля не противоречит покою? Не толкает из него выйти?

— Наоборот. Волевой человек спокоен. На войне это можно проверить. Когда организм перекрывает разум, работает от него независимо. От страха человек непроизвольно становится белым, как бумага, это кровь отливает. И ничего сделать нельзя. А медвежья болезнь? Организм реагирует.

— А вы сами когда-нибудь испытывали настоящий, большой страх?

— На войне.

— А не на войне?

— Я испытывал полную безысходность. Когда нехорошо поступал с женщинами. Винават был. И все это надо было выдержать. Тяжело. Если женщина тебя очень любит... Потом тебя все время преследует, что ты так обидел человека.

— И на все влияет.

— Очень. А еще я в молодости ревнивым был. Кошмар. Отелло, наверное, мог бы сыграть. Я и убить мог.

— А можно спросить, Юрий Петрович, довольны ли вы жизнью, которую прожили?

Чего больше в ней было зла или добра?

— А я об этом не думаю. Я не Николай Островский и не Владимир Ильич.

— Ну при чем они тут. Для любого человека нормально: думать о прожитом.

— У меня нет на это времени. Вообще я не люблю в этом копаться.

— Как же так? Когда вы разбираете с актерами текст, вот теперь "Карамазовых", то создается впечатление, что вы постоянно сосредоточены на человеческой психологии во всех ее оттенках. Именно "копаетесь". Иначе откуда вы столько о человеке знаете?

— От жизни. Я, как Щепкин: прошел от лакейской до императорской. Дед — деревенский. Отец — бизнесмен по-теперешнему. Мама — учительница. Нас воспитывали: шаркать ножкой, прикрывать рот, когда зевашь, не перебивать взрослых...

— Замечательно. Только то, что вы говорите на репетициях, очень далеко выходит за рамки этих правил.

— Я любил читать. И сопереживал прочитанному. Лет шести, начитавшись "Муму", я плакал в щели между сундуком и голландской печкой. У меня даже температура поднялась. А может быть, это просто совпало. Совсем мальчишкой надевал какой-то отцовский сюртук и декламировал: "Зовет он любимого сына, опору в превратной судьбе, ему обещает полмира, а Францию — только себе-е-е". Переживал при этом очень сильно. Раз папа привел меня к Вишневскому, мхатовскому актеру, "на пробу". Я прочел, не помню уже что именно. А он: "Мальчик, что ты так кричишь и руками размахиваешь? Мы же с тобой рядом сидим. Попробуй поспокойнее. Ты усвоил?" Когда уходили, сказал отцу: "Он у вас образовательный. Во второй раз кричал меньше и руками не так размахивал. А вообще — трудно сказать".

— Да уж. Действительно... Тут наше интервью прерывают. До прогона "Карамазовых" остался лишь час. А Ю.П. даже не успел пообедать. И множество дел ждет решения: в кабинет то и дело заглядывают. И уже совсем скоро Шереметьево-2.

Беседу вела РИММА КРЕЧЕТОВА

Любимов хоррор

29.09.97.